

Lena Swann

Распечатки

прослушек интимных переговоров
и перлюстрации личной переписки

В двух томах

Том №1



Харьков
«ФОЛИО»
2015

И кроме всего прочего, я подзадолбалась встречаться с тобой в отелях, любимый! Нет, это не причина, почему я вот сейчас вот не отвечаю тебе на эти вот твои звонки! Даже не мечтай. И — нет! — это даже не ответ на эти твои вчерашние му-му-му! Это я так просто — к слову пришлось, перед тем как пойти пописать. Тем не менее: под-за-дол-ба-лась!

А этот твой неисправимо провинциальный выбор гостиниц: по принципу, чтобы обязательно до тебя это место уже кто-нибудь из celebs засидел!

А этот промозглый Hotel des Bains на Лидо! Где ты заставил меня выживать сутки до твоего звонка! Причем с твоей стороны это ведь явно был крайний эстетский изыск! Ты же ведь явно рассчитывал страшно меня впечатлить, признайся, любезный? Вау-вау. Ну как же: мелкий бес когда-то сплавил сюда продукт собственной бездарной жизнедеятельности — немецкого писателя-мещанина-педрилу — на некрасивую педофильскую кинематографическую смерть (фуу-у, крашенный ус подтек). Действительно! Чего б тут ради этого не посидеть не помокнуть? Чего б тут, ради этого заодно, за компанию, не подохнуть от холода и влажности? Ради тебя, безукоризненного литературного и климатического дальтоника. Усипусик ты мой. Кстати, шел дождь, и лупило так, что уже непонятно было, с какой стороны: пустой пьяджо превратился в сияющую опрокинутую и отражающуюся самой же в себе лужу, в центре которой резвились и дурачились два шоколадных полуголых боксера: оба, едва завидев меня, подбежали поздороваться, радостно облизавив мне колени и руки (нет, не спортсмены — собаки. Не ревнуй. Мало мне было мокро), а от меня наперегонки рванули к морю, при этом летящие их глициериновые слюни сверкали полуметровыми завитыми леденцами слева и справа по диагонали, а как только жилистые их голени достигли первой волны, дождь уже зримо полетел в обратный путь, к небу, а боксеры, сцепившись, и симметрично пытаясь сорвать зубами друг с друга эластичные насквозь мокрые, и наверняка неприятно ощу-

щавшиеся на коже, красно-синие комбинезоны, как будто утирали мордами о подмышки друг друга брызги пота на ринге, пока их близорукая и явно еще и с какими-то осязательными расстройками заводчица, судя по возрасту — эмигрантка минус первого заезда, все пыталась дрожащими ручками настроить против ливня свою белую старческую парасольку, и все крутилась и метила, стараясь поймать волну ветра и взнудать его, но тот дурачился тоже, не позволяя на себе прокатиться, и посекудно менял все планы, и взбрыкивал, от чего парасолька вспархивала, и в самый разгар борьбы старушка, чисто случайно целившаяся в тот момент ровно в меня, вдруг не выдержала — и спустила тетиву, так что я едва увернулась от несшейся мне прямехонько в лицо распахнутой здоровенной стрелы с кокетливым мокрушным белым опереньем, а стрелявшая, ничуть не смутившись, и моментально забыв про улетевший зонт, вертелась дальше как волчок, размешивая песок лакированными, тонущими и мокро скрипящими, как чайная ложка в сахаре, белоснежными кубическими каблучками, и забористо кричала с милейшим старомосковским проносом своим псам — единственным живым существам на целом пляже, которые понимали, о чем она: «Давайте пойдём покупать!», — и залиvisto хохотала.

Хорошо еще, что ей в руки не попались более крупные особи — солнечные зонты, которые нахохлено стояли, у запертых купальных кабинок, со связанными крыльями. Пришлось, от греха подальше, перебраться на соседний пляж — для паралитиков. Где смиренные обитатели реабилитационного центра под садистским надзором плоскогрудых медсестер в синих накрахмаленных формах послушно делали стационарные дыхательные упражнения на крытой веранде, а редкие бунтари, чтобы избежать экзекуции, тихо окапывались по линии моря под черными безразмерными гулками от капель вороньими зонтами на своих двухколесых танках, в засадах на песке, или, кто пошустрее, на карачках делал вид, что срочно ищет у воды что-то крайне важное, забытое (безвозвратно утерянное) перед дождем. Нет, в фартуках были медсестры — а не инвалиды, догнал? В коротеньких таких, форменных передничках, и блузочках, с оборочками: словом, всё, как ты любишь, как буфетчицы. Сюсипусик ты мой. Ага. Что слышал. Шучу. На самом деле, они все, как на подбор, наоборот, были в длинных, консервативных льняных колоколах-юбищах, и бесформенных синих топах, а оборки вообще состригли, для строгости, чтоб тебя позлить. Короче. Понял? Любезный? Приём-приём? Мне надоело ждать твоих звонков где ни попадя, высиживать мобилу как дурное яйцо, пока ты, наконец, проклюнешься, и неправдоподобно бабским соскальзывающим из трубки в мое ухо голосом, каким-то ядовитым, обмазывающим изнутри ушное отверстие тембриком (ты ведь заме-

чал, милый, катастрофическую разницу настроек: когда ты вполне удачно изображаешь крутяк на публике — или когда ты сюсюкаешь со мной по телефону, бездарно и безухо пытаясь войти в любовный раппорт?) продиктуешь мне новый номер, на новую, присланную мне туда за несколько минут до этого с очередным твоим посыльным хмырем туземскую симкарту, пока они, эти сим-карты, обе еще «свежи», по твоей же корявой метонимии, потом экстренно упаковывать себя в аэропорт или автомобиль — и переезжать из одного отеля в другой, «доверенный», или в следующий, еще не слишком загаженный свиданиями город — или, доверяясь кому ни попадя, то есть хмырьку номер два и хмырюге номер три, названным мне тобой по телефону поименно (но, без сомнения, лживо), отправляться на снятую только что виллу или квартиру: «освеженный свежачок» — как ты добавляешь сразу же после встречи, считая, что каламбуришь, потирая ручки, как муха, если все удалось. Подзадолбалась. Мне надоели эти передаточные звенья, которыми уже испохаблены полкарты Европы! Заманалась вставить на крыло по звонку: «эволюция позвоночных» — ох уж мне все эти твои поминутные смехуточки да прибауточки! Острословчик ты мой.

Как будто в издевку, когда я вернулась с пляжа на Лидо в гостиничный парк, единственной породой пса, который в тот день не кинулся мне навстречу, стал злющий бетонный дог, отлитый в натуральную величину с вкраплением подручного, вернее подножного, здесь же найденного (гравий-гипс-грязь), материала, и, видимо, с натуральной душой прототипа: с истеричными глазами энтузиаста, готового стерпеть и одобрить все уродства заводчика — включая удар ботинком в поддых — с отбитыми ушами и вечнозеленой слезой под правым глазом: зверь чем-то напомнил мне твою жену. Слепок пороков хозяина, в бетоне.

Я даже не решилась пройти рядом с мемориальной псятиной по дорожке. С морды дога трагично стекала лава дождя. А огибая его круголями, прохаживаясь по пухлой и пружинистой от палых игл пахучей подложке земли, я наткнулась между соснами на мертвого пестрого скворца кричащей красоты — иссиня черного в прямом смысле материала: пропитанного чернильной переливающейся морской ночной чернотой (видимо, чтобы зримо контрастировать даже с цветом жирного, тепло дышащего, только что завезенного с материка чернозема на пашне клумбы неподалеку) — он расставил крылья, как будто напряженно силился прикрыть под собою что-то, а сверкающим от дождя золотым мертвым клювом уперся, зацепился за землю, и не давал мне уйти — всеми этими роскошными, сливочными крапинками на спине и на капюшоне (гамма горноста в негативе), и каким-то загадочным, заставлявшим выть от восторга, фио-

летовым подтекстом на воротнике с боков, как будто намекавшим, что под черным он одет в яркую пурпурную мантию. Мне стало неловко, что я так бесстыдно его, мертвого, рассматриваю. Но живая его красота завораживала. Он лежал как сокровище. Валялся. Невозможно было поверить, что я последнее на земле существо, которое видит его совершенство. Казалось, что поскольку его так обильно поливают дождем, завтра он должен прорасти вот прямо вот здесь, в сердце парка, и распуститься сияющими неземными цветами. Но на завтра его просто убрал садовник — юный, непонятно каким фокусом загорелый при такой погоде (может — по наследству?) сорванец со вздутыми бицепсами, выпиравшими как нарост из-под обдрозганных, со сталактитами ниток, модно обрезанных в минус (похоже, ножом) рукавов белой футболки, удравший с Мурано, не желая быть стеклодувом в двадцать первом поколении, — при мне аккуратно подобрал дохлого скворца лопаткой и увез куда-то на одноколесой, голубой, шепотом перебивавшей гравий тачке вместе с сорванными вчерашним ливнем еще свежими листьями и переломанными сажевыми ветками крыльями.

Скажи мне: и вот неужели, по твоим расчетам, все эти мои муки стоили того, чтобы потом по звонку укатить на дизельной бздюшке-вапоретто на Санту Лючию — а там перевалить на катер рекомендованного тобой по телефону и даже не рассмотренного мною как следует (из-за тумана, гари и вони Un Grande Gabinetto — как перевозчик тут же поспешил презабавным контральто перефразировать и трактовать название и аромат Canal Grande), кажется, специально подобранного тобой блеклого, со стертым лицом, безопасного шесса (ты всегда страхуешься от конкуренции наверняка), чтобы через несколько минут меня сгрузили в пошлейший, снятый тобой на подставное имя, палевый палаццо в подтёках, где пестрый волнистый шелковый в лиловых тонах плед как бы случайно сползал с колоннады балкона прямо в мусорную воду канала, анонсируя очередной закат от Missoni? (Спец-эффект, подстроенный тобой по мотивам глянцевого журнала, которые попрыгунчик-пилот регулярно подсовывает тебе вместе с флакончиками модного блевотного парфюма в сортир в джет-эте: бессовестная скрытая реклама, рассчитанная на твои запоры.)

Да, да, чуть было не забыла! Чуть было не забыла тебе припомнить (ты не возражаешь, если я так выражусь, любимый?). Так вот: отдельный счет тебе будет, без сомнения, выставлен в ходе Giudizio Finale за кошмарную парочку крошёных серых гипсовых львов по бокам балкона, прирученных и выдрессированных на местной, венецианской, керамической фабрике до оскорбительных почти карманных, сумочных, ливреточных, содержаночьих размеров — которых

ты распорядился рассадить по углам балкона — для пущей убедительности! Штампованные уродцы. Которые визуально терзали и мучили меня пуще, чем некогда их крупные прародители клыками новообращенную братву в Колизее.

И все это для того, чтобы чуть позже, ночью, сидя напротив меня на жесткой и колкой персидской подушке в гондоле (древняя скрипка моря, залакированная до смутлого скрипа дек, с неуклюжим смычком и разодетым попсовым негодяем, смычком гребущим) без маски, ты вдруг начал ревниво цопать меня за запястье шуйцы, взбесившись, когда смазливый жиголо-гондольер, покончив с традиционными шепотками ти-амо, томно пообещал мне, что как только мы заплывем под мост, он сразу же покажет мне джибиджано! «А теперь джентльмен всем своим весом налево — ну же! — а то не пройдем! а сеньорита... — уу-упс...» И честно говоря, мой милый: лучше, чем джибижано, которое он мне там под мостом тайком показал, — пока свингующая гондола царапала кованым носом звучно капающий кирпичный испод с испариной, — у тебя вряд ли когда-либо найдется мне что-нибудь предьявить. Хоть вот ты сейчас поперхнись там от зависти этим итальянским словарем, который ты наверняка уже взвизгнул секретарю, чтобы тебе — не-ми-и-е-длинно! — принесли.

А отель Luna Convento в Амальфи?! Меня сразу же должен был насторожить титул «конвенто»! Совсем уже докатился. Свидания в женском монастыре — в четыре звезды. Хорошо, пять, пять, не ной вот только сейчас снова! Кто и когда выгнал под зад коленом в мир, на внешний сквозняк, последних обитательниц? Сто лет назад? Двести? Нет, не то чтобы тебе уж так уж приспичило переспать в келье! Было бы странно подумать, что ты просто решил распугать души монашек. Чисто для конспирации, ага, конечно, так я тебе и поверила! Дорогой мой: тебя же считать — как два пальца об асфальт! Все твои нехитрые мотивировочки! Достаточно было увидеть выражение твоего личика, когда ты, несмотря на мои отчаянные протесты, умудрился втиснуть свой автограф прямо перед росписью Муссолини в книге почетных гостей отеля — пока я отвлекала внимание (а что уже было делать? Не попадаться же вместе с тобой!) ночного портъе, гордого гражданина Первой Республики Маринада и Лимонада, дарившего мне байки о том, как сам вдохновенный фиганат Франческо Бернардоне из Ассизи прискакал сюда к амальфитанам босиком, на своем капризном брате-осле, благословлять сестричек свить обитель в тысячу двести — каком? простите, по сарито — я не расслышала — додичи? — едючи? На ночь глядучи? Венти? Лятор? Дует? Вы не могли бы поконкретнее? А не пальцы обгорелые загибать и выпрастывать дуплетом на уно-дуэ-дуэ-дуэ — как будто компьютерный код какой-то только из двоек и единиц. Каком-каком?! — да

убери же ты поскорее эту несчастную книгу с фашистскими росписями на место! И сгинь сам, пока тебя не засекали. Я еще удивляюсь, как ты не затребовал у служки — молчаливого южанина с каменистым засушливым неплодородным лицом — продать тебе простыню и наволочку «от Дуче», а удовлетворился лишь тем, что снял для нас на ночь смотровую башню, где «развлекался и Бенито» (ох уж мне эти твои подзаборные побасенки, налипающие на слух, как помет в эфире!), и с разбегу плюхнулся прямо в твоих этих идиотских духоподъемных ботинках с пятисантиметровыми замаскированными каблучками на «ту самую! Представляешь! Ту самую же!» кровать. Несчастный ты мой инвалидик техник отражения и халявной эксплуатации чужих брендов. Ты уже настолько не уверен в собственном вкусе, любимый, уже настолько изломал его своей безграничной гибкостью, локацией и подстраиванием под тех, кто тебе может быть выгоден по бизнесу (а кто ж его знает? кто завтра будет выгоден? Надо ж на всякий случай подмахивать под всякого-каждого! Пока не убьешь), что теперь уж ты, кажется, и вообще не убежден, а есть ли он у тебя, этот вкус? Жарко-холодно? Блевно-вкусно? Вонь-Аромат? Главное, никогда и ничего не ругать — и ни к чему прямо не высказывать отношения — правда ведь? — потому что вдруг потенциально полезному человеку как раз этот душок и нравится, ага? И главное: ни к чему горячо — ко всему чуть тепленько. Гладенько. Ну, разве что за исключением редких ценимых вещей, типа меня, которые, ты боишься, у тебя вот щаз вот кто-то отнимет. Тут уж хватательный рефлекс отомрет у тебя последним. Даже в случае полного паралика. А так — нейтральненько. Аккуратненько. «А мне все нравится». И все не нравится. И все никак. И все славненько. От одного черпнул — от второго черпнул — третьему перелил. Чтоб никого из твоих дружков не оскорбить ничем выдающимся. Шарм гениальной усредненности. Шрам, милоч, — а тебе что слышалось? Я тебе давно говорила, что твоя страсть к статистике и зазубриванию наизусть среднестатистических данных — чтобы блеснуть цифрами перед идиотами — до добра тебя не доведет. Тебе все кажется, все теплится еще где-то в соцурившемся дверном глазке твоего уже начавшего тайком лысеть затылка мечта, что это ж не навечно же, что это ж ты ж в это играешь, притворяешься, ну так, типа, для эффективности, а как только можно будет — так сразу же заживешь наконец по-настоящему — но в реале ты уже почти неизлечим. Впрочем, тьфу на тебя. Чего это я опять разошлась-то, а?! И пожалуй даже не буду вот сейчас вот припоминать тебе того изжаренного морского карася, которого тебе принесли в номер в этой раскаленной амальфитанской albergo на золотом продолговатом помятом подносе с игривой белой бумажной гвоздичкой в страдальчески разорванном

рту, перед самым закатом, в тот самый момент, когда задернутые твоей рукой легкие шелковые занавески окрасили мелованные стены кельи в гранат.

Уж мелочи, сущие мелочи по сравнению с итальяскими моими мартириями — то позорное представление, в которое превратилась последняя поездка на Cote d'Azur. Разумеется, твоей фантазии хватило исключительно на то, чтобы забить мне стрелку в отеле Негреско, в этом расхожем притончике, с целлюлитной цветной бабой в фойе (скульптуру я имею в виду, а не консьержку, расслабься, любимый), словом, на объекте, уже практически приватизированном девушками подразорившихся олигов — из любви, вероятно, к куполам как змеиные яйца, выделанным из их же (змеиных же) кож же.

Я и так-то раньше Ниццу недолюбливала: дохлый миф, который все давно уже забыли про что. Если не считать кулинарного цветового гипноза зефира крем-брюле декораций на противнях фронтонов, которые по мере продвижения печения к границе с Италией, повышения температуры духовки, и закрытия задвижки гор, логично превращаются в пережаренные меренги рококо Монте-Карло. Но тут, на набережной англичанок, столкнулась нос к носу с подружкой одного моего знакомого олигарха (только вот не начинай вот сейчас быть «какого?». Еще живого. Это самое точное его определение. И не беглого. Много будешь знать — скоро станешь параноиком), которая томно поинтересовалась, на-а-адолга ли я здесь.

— Не-не-не. Буквально на минутку. Пролётом. Просто пописать забежала. До свидания.

Но тут она как всплеснет анорексичными ручками:

— Ох да что вы, как жалко! А я как раз вас только вчера вспоминала! Представляете, какое совпадение! Во у меня телепатия-то какая — прикиньте! Прямо как в рулетке! Может, пойдём чаю попьем? Туда, где карусельки? А?

— Честно говоря, не люблю я эти карусельки, — признаюсь я ей. — Что-то в них есть дурное. И тоскливое.

В этот момент, она неожиданно так, интеллигентно так, по-умному, прищурившись, спрашивает меня:

— А как вы, ваще, вот вкратце, оцениваете вот тот бардак, который, ваще, ща тваарится в Мааскве?

Ну, тут я уж, разумеется, начала уже потихоньку вливаться в житейскую болтливую прелесть, и уже готова бы и сама лучше с этим уже милым существом здесь в этом уже сносном Негреско остаться почаевичать, чем с тобой встречаться — но тут, как назло, из-за угла, из-под жухлой пальмы и увядшего светофора вылупляется поперек трафика из саркофага лимузина лягушатник-шофер с шоколадной лысиной, которому ты дал идиотский, собственного твоего

изобретения, пароль, с пошлым расчетом на то, что вокруг меня будут одни иностранцы — и громко выговаривает по бумажке (о мой позор! Ты бы видел, как сдулись ее губки!) на чистом русском языке, но почему-то с неприличным кавказским акцентом:

— Нью штё? Нйо-сик припюдриль?

Безапелляционно откупоривает передо мной дверцу машины. Закатывает меня туда, как в консерв. И увозит меня на одну из тех скучнейших вилл, которые как прыщи облепили загорелую щеку мыса. Чтобы оттуда, повинувшись твоей идиотской концепции безопасности («эффекту внезапности», территориальных блиц-кригов, бессмысленных зигзагов и судорожной смене планов, болезненно запутывающей только тебя самого), короче, в пузе уродливого затемненного минивэна цвета скуксившегося аллигатора переехать в аэропорт и потом неудачно и тряско приземлиться в недешевом кукурузнике на соседний островок, чтобы уже оттуда добираться на эту пошляцкую... Надоело! Подзадолбалась!

Милый: доброта и снисходительность — это мой грех.

Я прощала тебе все это — до вчерашнего дня. Я на все это смотрела сквозь полуприкрытые ресницы. Даже на номер в гостинице «Националь», в Москве, снятый тобой с особым цинизмом, то есть с видом на Кремль. И с... (честно сказать, для меня это уже был перебор) с бледными полупрозрачными цветочными витражами ар деко в самом центре дверей, условно, чисто условно отделявшими наш ассиметричный не-сиамский силуэт от коридора. Мне, боюсь, еще долго будут сниться эти кошмарные двери люкса, оказавшиеся не только звуко, но и взоро-проницаемыми. Слишком даже проницаемыми. В честь чего ты их внезапно и ловко пнул, и предложил упавшему биллбою повесить снаружи на ручку принесенные (и теперь эффектно разлитые) чай, кофе, а заодно глаза и уши, и остальной грубо поименованный тобой его личный инвентарь. Но «Зато!» (ох уж мне твое это любимое, калькуляционное, словечко «Зато!») — «Представляешь! Ведь в точно ведь таком же ведь номере этажом выше жил и вот так же работал В. И. Ленин!», — как ты, ликуя, подытожил с эротическим блеском в глазах. У этого упырька Лукича, видать, были одинаковые с тобой представления о методах борьбы за народное счастье. Вот мне любопытно, любимый: вот если кто-нибудь тебя обзовет, скажем, «подонком» — двух дней ведь не проживет, ага? — ты ведь совсем расстроишься, правда ведь? Ты ведь обозлишься на него, ты ведь расценишь это как оскорбление, правда? А если тебя обзовут «архиподонком» — то ты ведь наоборот сочтешь это за исторический комплимент, за лестные параллели, и за аванс, до которого тебе еще расти и расти? Правда ведь? А? Любимый? Вот загадка, а! Приём-приём? Только вот не надо вот сейчас

опять обижаться, раньше времени, договорились, ага? Это я ни к чему-то. Просто так, à propos. В смысле: перед тем, как пойти пописать. И не пиликай мне тут больше на моем мобильном, хотя бы пока я до туалета добегу. Догнал?

The Voice Document has been recorded
from 17:24 till 18:07 on 18th of April 2014.

В сортире, хотя бы, надеюсь, ты меня не прослушиваешь?! Ась? Что-что? Вижу, вижу уже твои бархатные изумленные глазки, любимый! Что слышал, любимый: надеюсь, говорю, что твои пацаны мне хотя бы в сортир жучков не напихали! «Откуда она знает?!» — ты сейчас наверняка подумал. А потому что не надо было рассказывать мне, шкодливо хихикая, как ты подловил своего кореша, послав спецов протереть амальгаму зеркала напротив его кровати и вставить в зеркало микро-камеру. А уж когда, после отвратительной бессонной ночи, проведенной мною в античной (гнилые смуглые сосновые балки вместо потолка) конспиративной двухэтажной квартире на абрикосовой Via Urbana в Риме (нет, не совсем абрикосовой — некоторые дома как урюк, а другие как курага — словом, абрикосы разной степени жухлости, сушёности и шершавости) — куда ты смог приехать только под утро — и, внезапно выдав себя (ох уж эти твои мозговые перегрузочки!), пошутил над некоим моим, почти молитвенным, жестом, который я случайно воспроизвела в квартире этой перед (чудовищной безвкусыности — вот не надо ныть мне сейчас опять, про то, какого оно века, и сколько ты за этот век заплатил!) овальным бронзовым зеркалом — жест воспроизвела без тебя, еще до твоего приезда — милый, ну надо уж совесть знать — ты как-нибудь уж мозги в катушку собери! У тебя, похоже, вся жизнь уже в башке представляется — как компьютерная игра — здесь прокрутить назад, здесь чуть-чуть смонтировать — и О'к! Нет, не О'к, любимый!

Ох уж эта мне твоя патологическая ревность, ох уж мне эта твоя больная паранойя! И — главное — дебиловатая эта твоя уверенность, что подслушав, подследив, узнав, когда человек ходит в сортир, когда и с кем встречается — выведав всю внешнюю (в общем-то, не важную! Поверь мне!) жизнедеятельность — ты можешь человека понять. Кретин.

Нет, милый, не пугайся — здесь, в Москве, жучков твоих я у себя в квартире еще не нашла. Вернее — нет, нашла вчера, одного — в классическом шпионском месте — на потолке, возле люстры — и чуть не прибила (из-за тебя, любимый!) невиннейшего шустрого короеда.